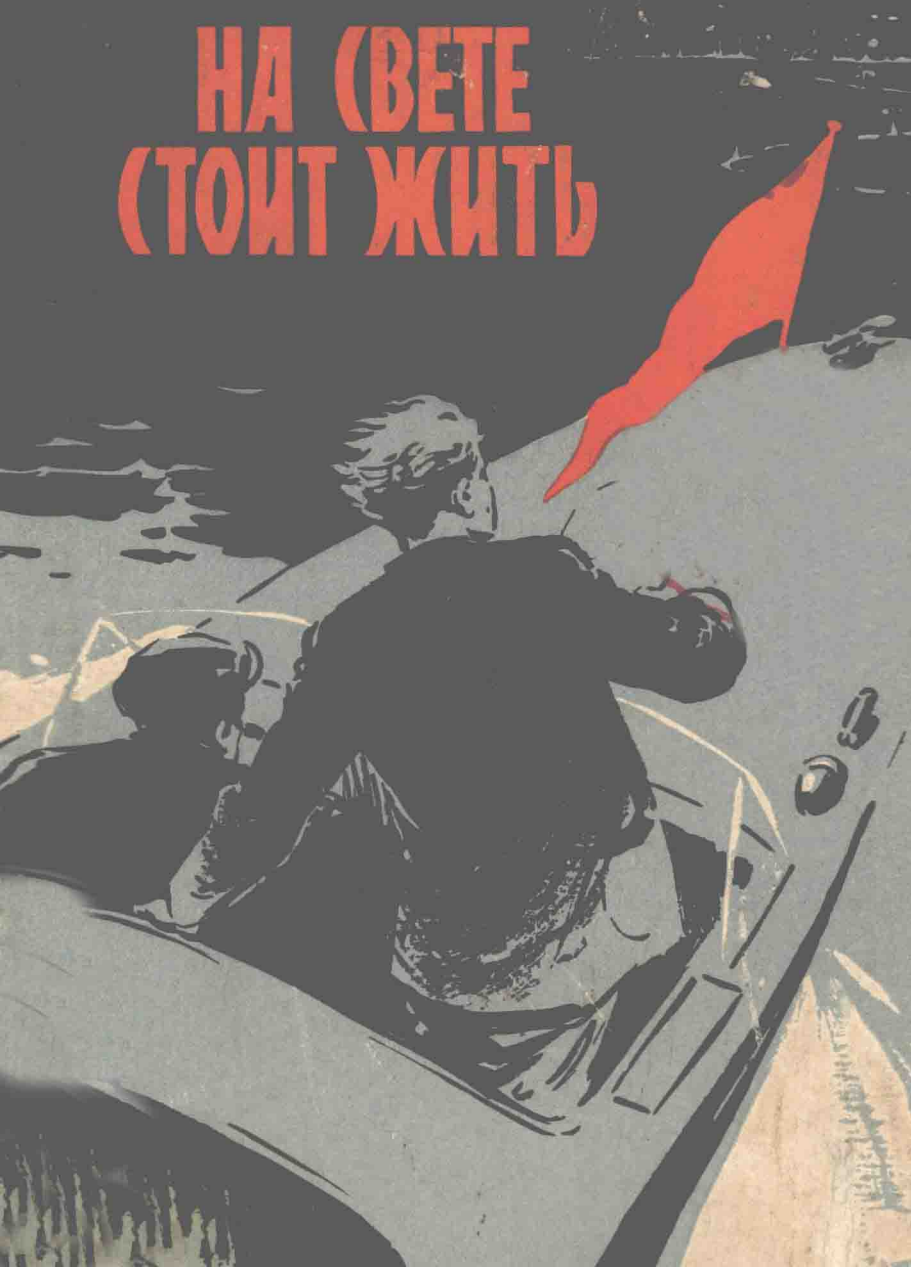


Ю. Буряковский

НА КВЕТЕ СТОИТ ЖИТЬ





Ю. Буряковский
**НА СВЕТЕ
(СТОИТ ЖИТЬ**

РАССКАЗЫ

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
КИЇВ-1962

Трудные, а подчас и очень сложные судьбы у многих героев этой книги Жизнь предъявляет все большие требования, и ответить на них бывает не так-то просто.

Передовой рабочий, изобретатель и новатор Алексей Плахтий совершил неблагоприятный поступок. Мучимый совестью, он принимает мужественное решение предстать перед судом товарищей, чтобы заново обрести их доверие,— доверие бригады коммунистического труда.

Не сразу нашел себя начальник земснаряда Василий Угляренко. Талантливость и смелость молодого инженера сочетаются в нем с самоуверенностью и равнодушием к людям. Жизнь преподносит ему суровые уроки, его учителем становится рабочий коллектив, помогающий своему руководителю освободиться от недостатков.

Трагически сложилась личная жизнь инженера Чеботаря, он замкнулся в себе, живет и работает по инерции. А людям нужно не только его умение, но и его любовь, внимание. Мучительно преодолевая свою горе, Чеботарь приходит к пониманию того, что обкрадывает духовно не только других, но и себя.

Другие новеллы в книге посвящены тяжелым и героическим годам Великой Отечественной войны, жизни и деятельности революционера в науке и технике академика Патона, мужественной стойкости героя чешского народа Юлиуса Фучика.

ТИШКА, ВНУК КОРАБЕЛЬНОГО ПЛОТНИКА

Мы сидим с дядей Павой на зеленом пригорке, на скамье возле прорабской, и, вытянув ноги, греемся на майском солнышке. Оно забралось уже довольно высоко и старается всюю. На зорьке пробушевала короткая внезапная гроза, и нежные усики травы еще решительнее пробились на скалистых берегах Берды.

Откуда только в этих травинках такая железная сила?

Много лет Берда мелеет, забивается илом, камнями, подмытыми течением, а в Азовское море впадает едва приметным ручейком. Но уже недолго ей бедствовать и задыхаться. Пройдет год, и этот крутой пригорок вместе с легкой дощатой конторкой и скамейками, три дикие серебристые маслины и разбитый, проклятый шоферами пыльный грейдер уйдут под воду. Все четыре бычка плотины выведены почти на последнюю отметку, а вдоль глубоких траншей, прорытых до самого города, уже лежат две нитки асбестоцементных труб будущего водопровода. Скоро жажда перестанет мучить наш город, его заводы, дома и виноградники.

Я второй час жду начальника участка Якова Петровича Калину. С рассвета он пропадает где-то в котловане. Искал я его всюду, с ног сбился, и всюду слышал в ответ: «Только что был здесь». Мне нужно получить у Якова Петровича наряд на камень для облицовки откосов водохранилища. Бригада наша со вчерашнего дня

в простое, и начальник избегает встречи со мной. С камнем дело обстоит очень плохо. Что ж, буду ждать на этой скамейке хоть до вечера, но с пустыми руками не уйду.

Дядя Пава — дневной сторож. У нас он только второй месяц, но я успел заметить, что на все случаи жизни у него свои особые суждения и в запасе всякие чудные истории и притчи. Книги наш сторож читает всегда какие-то необыкновенные и добывает их неизвестно где. Живет он одиноко, бобылем, на самом краю рыбацкой слободки. Квотирует у чужих людей, в комнатке-боковушке. Одних родных давно потерял, других почему-то не признает, называет «зубчиками», — на его языке это означает: люди со скверным характером.

Когда я подсел к дяде Паве, он, зажав коленями свой древний бердан, листал обтрепанную, без обложки книгу. Никто не знает, сколько лет дяде Паве. Может быть, шестьдесят, может быть, и все семьдесят. На пенсию выходить не хочет, наверно, одиночества боится. У него прокурены до желтизны не только обвисшие усы, но и мохнатые седые брови над железной оправой очков. Зубы тоже металлические. Собственные, по выражению дяди Павы, отобрало море.

С мальчишеских лет он рыбачил, славился на всем азовском побережье редкой силой и ловкостью, один мог вытянуть конец невода, когда другой тянули трое. В молодые годы получал за это у богатого хозяина-грека два пая, а потом даже женился на его дочери и стал старшим ватаги. Еще совсем недавно сандо-шкиперы многих сейнеров (так у нас, в рыболовецком флоте, по старинке именуют капитан-бригадиров) старались заполучить дядю Паву на должность сетьевого. К нам на стройку водохранилища он никогда бы, наверно, не пришел, если бы не приключилась беда. Этой зимой во время подледного промысла у кубанских берегов дядя Пава, вытягивая драчку, провалился под лед, едва не утонул, схватил жестокий ревматизм и лишился почти всех зубов.

Сегодня, можно сказать, дядя Пава в ударе, его просто распирает от желания поучать. На этот раз он взялся доказать мне, что никто на свете толком не знает, что хорошо, а что плохо, что так было, есть и будет во веки веков.

Такого еще слышать от него не доводилось. Чтобы не спугнуть дядю Паву, я пока не перечу. Пусть выскажет-

ся — мне его мысли интересно узнать до самого донышка. Дядя Пава, наверно, и другим на стройке свое проповедует, и войны мне с ним, видно, не миновать.

— Вот какая приключилась когда-то история, дорогой товарищ бригадир, — говорит наш философ. — Давно это было, сто лет тому, а может, и двести... Приехали, значит, в Африку к одному негритянскому племени эти... Слышал такое слово — комиссионеры? Вроде бы в командировку. Чтобы, значит, в два счета обратить черномазых дикарей в христианскую веру. Иконки разные прихватили с собой, а про всякий случай и ружья, но прошло у них, однако, все чин чинком, мирно. Окрестили африканцев, объяснили что к чему: ангелы, значит, белые, с крылышками, а черти, мол, черные, вашей, извините, граждане, масти, с хвостами. Все вам, говорят, понятно? Все, отвечают, усвоили. Вроде техминимума приняли комиссионеры у африканцев и довольные укатили додому. Через десять или там двадцать лет приезжают обратно в Африку как бы на инспекцию. И что же там, дорогой товарищ, видят? Никогда, парень, не угадаешь. Понаделали себе негры картинок всяких, на манер образов наших, и развесили в своих соломенных хатах. Бунгалы — у них называются. И на тех образах ангелы все черные и, как положено, с крылышками, а черти, тоже, значит, по уставу, с хвостиками, но белого колеру. Белого! Схватились тут за голову проповедники слова божьего и бегом на свой пароход или там парусник. Только их в Африке и видели. Понял, голубе? Что одному мед, то другому деготь... Так и в нашей с тобой житухе. Вовек так будет стоять. У каждого правда своего колеру. Каждый до себя, до своего берега гребет. Понял?

— Понять понял, — не выдерживаю я, — только вредная эта ваша мыслишка, дядя Пава.

— Правда, миленький, всегда вредная.

Дядя Пава достает из кармана толстого черного пиджака, — носит он пиджак этот во всякое время года, в жару и непогоду, — пачку дешевых папирос — «гвоздики».

— Слышал ты когда-нибудь, парень, притчу о том, как человек всю жизнь правду искал? Моря переплыл, горы насквозь проник, всю землю ~~обогнул-облетал~~, а вернулся домой весь в синяках...

Но мне так и не удастся узнать, почему неизвестный искатель правды вернулся домой в синяках. Сюда, на площадку перед дощатым домиком прорабской, спускается по крутой каменистой тропке незнакомый человек. На вид ему лет тридцать, красивый, худощавый, глаза веселые, озорные, загар степной, прошлогодний держится. Одет он так, словно в театр пришел, а не на стройку: в голубой шелковой тенниске с застежкой-молнией, в светлых отутюженных брюках и заграничных сандалетах. Только чемоданчик никак не в масть своему хозяину: совсем нестоящий и весь во вмятинах, уголки сбиты, желтая кожа исцарапана.

Здоровается с нами, с улыбкой смотрит на сторожа:

— Бердан свой караулите, диду?

Вижу, сторожу не по вкусу такие шуточки. Он требует, чтобы к нему и к его должности относились с полным уважением. Дядя Пава обиженно поджимает губы:

— Могу, молодой человек, и саквояжик ваш постеречь, пока будете в модных туфельках за начальством бегать. Предупреждаю: в расход войдете, набоечки придется давать.

Гость будто и не замечает ничего.

— Его что, на месте нет?

— А оно, начальство наше, уважаемый гражданин, и само того никогда не знает, не ведает, где оно есть, а где его нет. Погукать, что ли?

— Погукайте.

Дядя Пава складывает ладони рупором и кричит, повернувшись лицом к котловану:

— Яков Петрович! Яков Петрович! Человек до тебя пришел! Пет-ро-вич!

Начальник не отзывается. Мы зовем его уже не в первый раз. Разве тут услышишь? Одни камнедробилки и бетономешалки сколько шуму поднимают.

В конторке надывается телефон. Это из управления стройки. Раз нет Якова Петровича, то и снимать трубку нечего.

— Один звон,— со значением ухмыляется сторож.— Почекайте, если располагаете временем, тут в холодке.

Гость присаживается на скамью между мной и дядей Павой и косится на его потрепанную книгу.

— Чем это увлекаетесь, диду? Что-то старое... Интересное, наверно?

Это уже другой разговор! Дядя Пава сияет. Похвалить его книгу — значит сразу подобрать к нему ключик.

— Редкостная книга, незнакомый товарищ. Приобрел за большие деньги в личную библиотеку. Две десятки отдал, понятно? Сочинение писателя для анархистов знаменитого князя Кропоткина. И не слышали?

— Почему же? Приходилось. Но я больше по графской линии... Льва Николаевича Толстого почитываю.

Дядя Пава раздраженно машет рукой:

— А-а-а... «Не убий!» Знаю. Ерунда. Хоть со всей земли оружие сгреб и утопи в море, все одно будем с полной охотой друг дружке черепки расшибать. Камнями, палками... И ничего тут, приезжий товарищ, не поделаешь... Природа человеческая!

Гость внимательно смотрит на сторожа:

— Выходит, войны никак не миновать?

У дяди Павы хитренькая улыбка, в глазах сознание своего превосходства.

— А вы как же полагали? Человечество — оно с детства порченное. Иисус, Магомет, Моисей, Будда — все побрехеньки. Бог один у всех: своя корысть.

— А мы, диду, уже сорок лет неверующие, — улыбается гость.

— Слышали! На собраниях — все неверующие. — Дед насмешливо шуруется, затем подвигает по скамейке мятую пачку своих «гвоздиков». — Простые не пользуете?

— Пользую, да не хочется сейчас. Что же это начальник у вас такой суетной?

— Заурядный. Время суетное, дорогой товарищ командировочный. Сколько людей за сорок с лишком лет все себя на твердое место определить не могут, а? — Дядя Пава победоносно задирает голову. — Вот у вас, примерно сказать, брючки, извините, рублей на триста семьдесят, а чемоданчик вовсе худой, завалыщенький. Не на печке, полагаю, обтрепали?

— С войны он у меня еще. Память.

— Вот-вот! С тех пор и мечетесь?

— Мечутся тараканы, диду. Я порядок навожу.

Сторож ядовито усмехается:

— Милиционер, что ли?

— Был сапером. Сейчас подрывник.

Я не вмешиваюсь, только слушаю, хоть и тянет вставить свое слово. Уж очень интересным становится разговор.

Дядя Пава, насупившись, молчит, потом неторопливо снимает свои железные окуляры, подозрительно рассматривает человека в голубой рубашке. Почему-то дед вдруг переходит с ним на «ты». Наверно, он до сих пор принимал его за какое-то начальство, а со своим, рабочим человеком решил особенно не церемониться.

— На всей земле порядкуешь, или как?

— На это власти еще не хватает.— В глазах незнакомца прыгают веселые огоньки.— Пока вот на реках Европейской и Азиатской части Советского Союза.

— Овва! Масштаб. Чем же они, эти самые реки, тебе поперек жизни стали?

— Не люблю, когда заряд вхолостую пропадает. Против моего характера это. Реке работать положено на полную силу. Вот так, дядя Пава.

Сторож от удивления даже открывает рот. Он надевает и снова снимает очки, протирает их большим белым платком, слежавшимся на складках, оглядывается на меня, потом в упор смотрит на подрывника:

— Опознал меня?

— Опознал, дядя Пава. Сразу ж и опознал.

— Вроде есть знакомость и в твоей личности. Местный, выходит?

— Выходит.

— Чей же будешь?

— Сергей Погребняк, Тихона Остаповича, корабельного плотника, единственный сын. В Тараньей бухте, возле водокачки, проживали.

Взгляд дяди Павы становится колючим:

— А-а, знавал Тихона, знавал... Тоже был любитель порядок наводить. Сказано: балтийский матрос! В семнадцатом году баррикады возле управы ставил. Известный был в городе зажигатель... Ты что же, его масти?

— А что, заметно? — улыбается Сергей.

— Издалека идешь, Тихонов наследник?

— Есть такая малая речушка в Сибири — Ангара.

— Читали. Приходилось. Наградное местечко. И рубль там, болтают, длинный. Что ж бросил? Выгнали, или на отцовскую могилку потянуло?

— Кругом промашка, дядя Пава. Сын велел на Азов ехать.

Лицо сторожа вытягивается от удивления:

— Какой такой сын?

— Будущий.

Я смотрю на Сергея. Разыгрывает он деда, что ли? Нет, отвечает как будто вполне серьезно. Что-то не пойму я его. А дядя Пава вовсе озадачен.

— Ты что это, голубе, спозаранку граммов триста майнул в ресторации без закуски?

— Она, дядя Пава, она, проклятая. Натощак.

Сергей весело подмигивает мне, и снова его лицо невозмутимо. Хоть бы жилка дрогнула. Но не в обычае дяди Павы поднимать руки. Он привык всех и вся поучать, загонять в тупик каверзными вопросами, а тут сам столкнулся с чем-то необъяснимым.

— И что же тебе, Сергей Тихонович, сказал сын, которого ще на свете нет? — невинным тоном вопрошает дядя Пава и закуривает новый «гвоздик». Прежний, пока дед размышлял, безнадежно почернел.

Сергей достает свои папиросы, прикуривает своими спичками.

— Интересуетесь? Что ж, расскажу. Приходит однажды из школы сынок — Тихон Сергеевич. Ранец в сторону, железяку какую-то — от мамки — под кровать подальше, а сам ко мне. И сразу, с ходу — вопрос:

«Волга твоя?»

«Моя».

«Днепро твой, батька?»

«Мой».

«Кама твоя?»

«И Кама моя».

«Ангара?»

«И она моя!»

Что за допрос? — думаю. — У него ведь на школьной карте все мои гидростройки обозначены. И моей рукой сноски-пометки сделаны: родился сынок, в детский сад пошел, в первый класс, в пятый... Тут он свой заряд и всадил! Глаза — хитрющие:

«А Берда твоя, батька?»

«А что такое?»

«Ты же возле этой речки родился?»

«Ну, родился...»

«А что ты на ней построил?»

Молчу, глаза отвел. А Тишка свое:

«Мы сегодня в школе про твою Берду в книжке читали. Вслух. Как ручеек, была, еле ползла к морю. А люди на ней плотину поставили, водохранилище большое выкопали, по трубам за десятки километров пустили воду в город. Теперь и заводам и людям воды хватает, чистой, ключевой, вкусной... Как же это все без тебя, батя, сделали? Там же дедушка баррикады строил...»

Вот что мне сын сказал... Мог бы сказать!

Дядя Пава сердито разглаживает свои желтые усы.

— Это тебе, товарищ Погребняк, выходит, такой сон приснился?

— Вроде,— усмехается Сергей.

— Чем-то мне ваша фамилия знакома,— говорю я гостю.— А никак не припомню.

— Погребняков на Украине много,— отвечает подрывник.— Старый род, казачий.

— Красиво врешь, парень, а все одно врешь,— зло бормочет дядя Пава.— Не иначе от какой беды с Ангары сбежал. Местечко-то...

Погребняк встает:

— Послушайте, люди добрые, может, вашего начальника только во сне и увидеть можно?

— А вот он как раз и идет,— отвечаю я.

Седой, жесткий ежик волос на почти квадратной голове Якова Петровича совсем мокрый. От пота рубашка на груди вся покрылась темными пятнами. У начальника застарелая астма, он не признает ее, весь день на ногах, работает за троих, и все же огорчений и неприятностей у Якова Петровича прорва. Вот позавчера он получил выговор от управления стройки за срыв графика облицовки водохранилища. Все знают, что его вины тут нет,— в бригаде подрывников нехватка людей, да и бригадир—парень малоопытный и неловкий, а все же — выговор. Хозяин отвечает за все. Пришел Яков Петрович сейчас из каменоломни — на ботинках его осела мелкая красноватая пыль,— и видеть ему меня просто тошно.

— Нет камня! Нет, понимаешь? Второй бригаде отдал. Не все же тебе одному! — кричит Яков Петрович.— Завтра приходи. Ничего слышать не хочу, завтра!

Он показывает нам свою мокрую спину, потом неохотно возвращается.

— Ко мне? — бурчит Петрович и косо посматривает на зауженные брюки и сияющие сандалеты Погребняка.

— К вам. Именно к вам, Яков Петрович,—посмеивается Сергей, извлекает из бумажника и протягивает начальнику участка какую-то бумагу, сложенную вчетверо.

Яков Петрович небрежно разворачивает бумагу («Опять, наверно, просьба, опять кто-то машину кланчит...»), читает ее раз, потом другой и вдруг почему-то начинает смешно размахивать короткими волосатыми руками:

— Быть того не может, не поверю! Чтоб такому бидолахе, как я, и такая подвалила удача?

Он весь сияет и кулаком что есть силы толкает меня в плечо:

— Будет тебе камень, будет! Нечего лодыря строить, в простое торчать! Вот — читай.

Что за чудеса? Не привез же этот парень с собой эшелон камня?

Из рук начальника участка беру эту самую бумагу. В ней говорится, что мастер взрывных работ на строительстве Братской ГЭС Сергей Тихонович Погребняк по его личной просьбе временно, сроком на шесть месяцев, освобождается от работы в Братске для участия в строительстве водохранилища в районе его родного города.

Вот оно что! Сергей Погребняк... Теперь я наконец вспоминаю, почему мне знакомо это имя. В магазине технической книги я видел его брошюру. Это он создал и первым внедрил в Братске новый скоростной метод выемки и разработки камня. Теперь дело там идет вдвое быстрее. Об этом и в газетах писали.

Через мое плечо, подняв очки на лоб и шевеля губами, читает и дядя Пава. Физиономия у него сейчас довольно кислая.

Отвернувшись, он бурчит под нос что-то неразборчивое.

— Жить будешь у меня, Сергей Тихонович,—говорит начальник участка и трясет руку Погребняка. Это у него такая манера,—мы к ней уже привыкли,—все решать за других быстро и бесповоротно.

— Хорошо.

— Семья есть?

— Холостяк-перестарок. Злостный.

— Женим. В два счета. На своей, на азовской. Королеву найдем! И чтоб сына назвал Тихоном. Я у твоего батюшки в гражданку вторым номером на «максиме» был. Слышишь?

— Слышу,— отвечает Сергей.— Тишкой и назовем. Ну что, Петрович, пошагали в бригаду?

Сергей похлопывает ладонью по растрепанной книге, которая лежит рядом на скамье.

— Ох, и сильно ж вы глаза себе испортили, дядя Пава.

Мы уходим втроем. Я напоследок оглядываюсь на дядю Паву. Вытянув длинные, худые ноги, он как будто дремлет, откинувшись на спинку скамьи. Притворяется, конечно. Глаза его плотно прикрыты, но яркое майское солнце проникает и сквозь старые, склеротические веки, испещренные красными жилками.

ПОЛТОРА КУБОМЕТРА НОВЫХ ДОСОК

Всю первую ночь в поезде с Алешей Плахтием творилось что-то неладное. Хотя язва не мучила и ни разу не пришлось пить соду, спал он на своей верхней полке плохо, тревожно, то натягивал через голову простыню и впотьмах искал шершавое одеяло, то сбрасывал все, тянулся к потолку и пытался еще больше ослабить тугой винт вентилятора. Потом Алеша решил, что во всей этой ночной чертовщине виновата тощая казенная подушка, и подпер ее концом матраца. Стало еще хуже, ныла шея, приходилось подбирать ноги. Так он промаялся, провертелся без сна почти всю ночь.

«Все из-за этого дурацкого курения,— убеждал себя Алексей.— У всех в первые дни настоящая адова мука». После завтрака нестерпимо хотелось потянуть хоть разок-другой, во рту пересохло, сводило челюсти. А рядом, как назло, этот жилистый сухопарый инженер с глубоко запавшими глазами все дымит и дымит. Дразнит его, что ли? Вот снова достал из кармана пижамы пачку «Беломора» («Ничего, в Минводах конец этому счастью и для тебя!»), аккуратно, неторопливо размял слежавшийся табак. Зачем только Алексей вчера вечером объявил своим спутникам, что на перроне выбросил в урну пачку «Лайки» и «железно дал себе слово не брать больше этой пакости в рот»?

— Ого, уже сорок минут держитесь? Рекорд! — невинным тоном отозвался инженер на эту торжественную декларацию.

— Еще как будете стрелять, дорогой мой,— пробасил лысеющий доктор со смешливыми глазами и могучими кистями хирурга.— Тут сильная воля нужна.

Подначивают, травят? Пусть! Раз он решил по всем правилам лечить проклятую язву и пить нудную лечебную воду, значит, никотину крышка. Это — твердо, наотруб. Хорош был бы верхолаз-опалубщик, у которого

не хватит духу справиться с какой-то злосчастной привычкой! Нет, он не скиснет, не попросит «одну-единственную» у этих ехидных типов. Им только попадись на зубы.

Пассажиров в купе экспресса было, кроме Алексея Плахтия, еще трое, и ехали они тоже до конца, в Минводы. Алеша считал, что все язвенники на свете — народ скучнейший и злющий. Для него же не было дела более милого, чем ловко поддеть товарища, разыграть при всем честном народе. Эти соседи по купе пошатнули старые представления Плахтия. Перед сном вся четверка успела перезнакомиться и пожаловаться на «свое чрево», но сегодня с самого утра инженер предложил установить строжайший запрет на медицинские темы, и Алексей вместе со всеми проголосовал за. Доктор сейчас же вывесил плакатик из двойного листка почтовой бумаги: «Штраф за нытье». Четвертый пассажир, длиннорукий тощий почтальон — правое плечо у него заметно ниже левого, — пытался было протестовать:

— Это что же выходит, всю дорогу так? У меня как раз начинается...

Его единогласно предупредили: за первую же попытку нарушить конвенцию...

«Отличные ребята», — подумал Алексей, хотя ребята эти были вдвое старше его, двадцатисемилетнего парня с неприличным для язвенника кирпичным румянцем во всю щеку, плечами и мускулатурой тяжелоатлета и гривой русских выющихся волос — предметом зависти всех девочек на стройке.

Штраф налагался необычный: провинился — выкладывай самую смешную историю своей жизни за последний год. Первым оскандалился инженер, но Алексею показалось, что сделал он это нарочно, чтобы сорвать назревавшую «пульку». Этот человек, похожий внешне на старого слесаря или сварщика, проектировал текстильные фабрики для доброго десятка стран мира, исколесил пол земного шара. В последней командировке с ним приключилась вот такая история. На приеме у министра промышленности одной азиатской страны он терзался из-за своего английского языка, отмалчивался, тоскливо поглядывал на переводчика, занятого с главой нашей делегации. А господин министр возьми и заговори вдруг с инженером... по-русски.

Алексее эта история очень понравилась. Он подумал о том, что бы почувствовал, окажись он тогда на месте инженера.

Следующим попался и угодил под штраф, конечно, почтальон. Одиноким человек, потерявший в войну всех близких, он однажды утром получил двенадцать телеграмм и писем и лишь тогда вспомнил, что сегодня ему стукнуло ровно пятьдесят. Поздравления прислали все почтальоны (он говорил «сумочники») отделения связи и сам товарищ директор. Плахтий посмеялся вместе с остальными, но почему-то ему стало не по себе. Он пристально взглянул на немолодого усталого человека с такой незаметной и тихой профессией, у которого неожиданно оказалось множество друзей, и тяжело вздохнул. И начальник, наверно, мрачный и ворчливый, сухарь и придира, а вот тоже прислал поздравление.

Доктор предупредил, что его история скорее нелепая, но других, смешных, в запасе не имеется, уж очень невеселая у него специальность. В общем, вместе со всей клиникой он, ее директор, выдвинул на соискание медали Пирогова за операции на сердце и легких своего почтенного коллегу из Москвы, который был зачинщиком в этом деле. А медаль Академия наук неожиданно присудила почему-то ему самому. Он писал, протестовал, но ничего уже не помогло.

Алексей встал, накинул на майку летний пиджак, резко дернул ручку зеркальной двери и вышел в коридор. Затылком, спиной он чувствовал удивленные взгляды соседей. Что это в рассказе доктора так подействовало на их попутчика? Алеша не смог бы объяснить этого и самому себе, но он вдруг почувствовал себя чужим среди таких людей, как доктор, почтальон и инженер. Да, теперь, после случившегося с ним, он тут чужой и лишний. Они ничего не знают и никогда не узнают. Но что меняется от этого? Достаточно, что знает он сам.

Если бы переменить купе... Там другие люди. Держаться от них особняком, не вступать в лишние разговоры. Тогда каждый и всякий не будет колоть тебе глаза — смотри, какие, мол, все мы хорошие...

Алексей огляделся в коридоре. У соседнего опущенного окна курил, играя сигаретой, хлипкий на вид парень с косицами нарочито небрежно подстриженных волос на лбу и нервным дергающимся лицом. На нем была ярко-

красная безрукавка, сизые брюки в обтяжку с белой двойной строчкой на швах и на больших накладных карманах; на ногах — спортивные туфли — кеды. Плахтий почувствовал острое раздражение. На черта этому типу «джинсы», рабочие штаны докеров? Алексей видел такие однажды в Херсоне на иностранных матросах во время разгрузки кораблей. Для тех ребят — удобная, легкая роба, а этот свистун чего напялил их на себя? Стиляги — пустое, стертое слово, не выражает сути. Самое страшное, считал Плахтий, — просвистать жизнь, разменять ее на медяки. Именно — свистуны! Что у таких за душой?

— Простите, можно у вас попросить сигарету? Забыл взять на станции, — неожиданно для самого себя чужим голосом сказал Алексей.

— Сервус! — воскликнул парень с косицами на лбу и двумя пальцами ловко выдернул из нагрудного кармана сигарету с золотым ободком на кончике. — «Кемел»! Слышали, конечно?

Плахтий с чувством отвращения («Как же это я?») буркнул нечто среднее между «спасибо» и «подавись ты» и сунул сигарету в рот. Он отстранился от предложенной ему зажигалки в виде голы женской фигурки, но вспомнил, что спички там же, где и пачка «Лайки», и прикурив.

Сигарета показалась горькой и едкой, Плахтий поперхнулся, закашлялся и поймал на себе быстрыйнисходительный взгляд:

— Запашок, а? Экстра! Ничего, это с непривычки. Между прочим, личный подарок одного французского туриста, тоже, как и я, оркестрант. Фарцовки, купли-мены не признаю. Мелочь в подарок, сувенир — это можно. Вы согласны, куда интереснее откровенный обмен мыслями, их мнение о нашем образе жизни и наоборот?

— Запашок — действительно, — процедил Алексей и снова закашлялся. — И как же ему — нравится у нас?

— О, достижений не отрицает! Промышленность, музыка, космос и все такое... Но утверждает, что мы в Союзе живем пресно. А у них признают сейчас только ощущения — экстра, что-нибудь необыкновенное, дразнящее нервную систему! Укус, а не постное масло. Его слова. Схватываете?

— Почему же, схватываю, — сказал Плахтий. — Скучные мы, значит? Ровные очень, что ли?